







## The preface

The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal the artist is art's aim. The critic is he who can translate into another manner or a new material his impression of beautiful things.

The highest as the lowest form of criticism is a mode of autobiography. Those who find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This is a fault.

Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated. For these there is hope. They are the elect to whom beautiful things mean only beauty.

There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all.

The nineteenth century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in a glass.

The nineteenth century dislike of romanticism is the rage of Caliban not seeing his own face in a glass. The moral life of man forms part of the subject-matter of the artist, but the morality of art consists in the perfect use of an imperfect medium. No artist desires to prove anything. Even things that are true can be proved. No artist

## Предисловие

Художник — это тот, кто создает красивые вещи.

Раскрыть искусство и скрыть художника — такова у искусства цель.

Критик — это тот, кто в новой манере, или пользуясь новым материалом, выразит свое впечатление от этих красивых вещей.

Критика, плохая и хорошая, всегда есть автобиография.

Так что те, кто видят развратное в прекрасном, сами развратны и притом не прекрасны. Это большой недостаток.

Находить в прекрасных вещах также и прекрасные идеи умеют люди культурные. Для них еще есть надежда. И только для избранных прекрасные вещи исключительно означают красоту.

Нет ни нравственных, ни безнравственных книг. Есть книги, хорошо написанные, и есть книги, плохо написанные. Только.

Неприязнь девятнадцатого века к реализму — это ярость Калибана, видящего в зеркале свое лицо.

Неприязнь девятнадцатого века к романтизму — это ярость Калибана, не видящего в зеркале своего лица. Чья-нибудь нравственная жизнь может порой оказаться сюжетом художника; однако вся нравственность искусства — в совершенном применении несовершенных средств. Ни единый художник

has ethical sympathies. An ethical sympathy in an artist is an unpar-donable mannerism of style. No artist is ever morbid. The artist can express everything. Thought and language are to the artist instru-ments of an art. Vice and virtue are to the artist materials for an art. From the point of view of form, the type of all the arts is the art of the musician. From the point of view of feeling, the actor's craft is the type. All art is at once surface and symbol. Those who go beneath the surface do so at their peril. Those who read the symbol do so at their peril. It is the spectator, and not life, that art really mirrors. Diver-sity of opinion about a work of art shows that the work is new, com-plex, and vital. When critics dis-agree, the artist is in accord with himself. We can forgive a man for making a useful thing as long as he does not admire it. The only ex-cuse for making a useless thing is that one admires it intensely.

All art is quite useless.

*Oscar Wilde*

не желает что-либо доказывать, ведь доказаны могут быть даже достоверные истины.

Ни у какого художника не бывает этических пристрастий. Этические пристрастия в ху-дожнике есть непростительная манерность стиля. Болезненных художников нет. Художник мо-жет изображать все. Мысль и язык для художника, — орудия его художества. Порок и беспо-рочность для художника — ма-териалы его художества. В от-ношении формы, музыка есть первообраз всякого искусства. В отношении чувства, перво-образом является лицедейство актера. Всякое искусство одно-временно есть и поверхность и символ. Те, кто проникают глуб-же поверхности, сами ответ-ственны за это. Те, кто разгады-вают символ, сами ответственны за это. Ибо зрителя, а не жизнь, поистине отражает искусство. Несогласие мнений о каком-ни-будь создании искусства сви-детельствует, что это создание ново, сложно и жизненно. Если критики между собой не соглас-ны, — художник в согласии с собою. Мы можем простить че-ловека, создающего полезную вещь, если сам он не восхищает-ся ею. Единственное оправдание для создающего бесполезную вещь — это то, что каждый вос-хищается ею безмерно.

Все искусство совершенно бесполезно.

*Оскар Уайльд*

# Chapter I

The studio was filled with the rich odour of roses, and when the light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there came through the open door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume of the pink-flowering thorn.

From the corner of the divan of Persian saddle-bags on which he was lying, smoking, as was his custom, innumerable cigarettes, Lord Henry Wotton could just catch the gleam of the honey-sweet and honey-coloured blossoms of a laburnum, whose tremulous branches seemed hardly able to bear the burden of a beauty so flamelike as theirs; and now and then the fantastic shadows of birds in flight flitted across the long tussore-silk curtains that were stretched in front of the huge window, producing a kind of momentary Japanese effect, and making him think of those pallid, jade-faced painters of Tokyo who, through the medium of an art that is necessarily immobile, seek to convey the sense of swiftness and motion. The sulen murmur of the bees shouldering their way through the long unmown grass, or circling with monotonous insistence round the dusty gilt horns of the straggling woodbine, seemed to make the stillness more oppressive. The dim roar of London was like the bourdon note of a distant organ.

# Часть I

Мастерская была пропитана пряным ароматом роз, и, когда легкое дуновение летнего ветра проносилось в саду меж деревьями, в открытую дверь врывался удушливый запах сирени или тонкое благоухание розового шиповника.

Лежа в углу дивана, покрытого персидскими чепраками, и куря, по обыкновению, одну за другою бесчисленные папиросы, лорд Генри Уоттон мог мельком улавливать сияние медвяно-сладких и медово-цветных лепестков альпийского ракутника, трепетные ветви которого, казалось, едва выдерживали тяжесть своей пламенно-яркой красоты; изредка по длинным шелковым занавесям громадного окна, создавая на мгновение эффект японской живописи, проносились фантастические тени пролетающих мимо птиц, заставляя лорда Уоттона думать о токийских желтолицых художниках, стремящихся выразить порыв и движение в неподвижном по своей природе искусстве. Дремотное жужжание пчел, то пробивавших себе дорогу в нескошенной высокой траве, то с однообразной настойчивостью кружившихся над пыльными, золочеными усиками вьющейся лесной мальвы, как будто делали тишину еще более тягостной. Глухой гул Лондона доносился сюда, как басовые ноты далекого органа.

In the centre of the room, clamped to an upright easel, stood the full-length portrait of a young man of extraordinary personal beauty, and in front of it, some little distance away, was sitting the artist himself, Basil Hallward, whose sudden disappearance some years ago caused, at the time, such public excitement and gave rise to so many strange conjectures.

As the painter looked at the gracious and comely form he had so skilfully mirrored in his art, a smile of pleasure passed across his face, and seemed about to linger there. But he suddenly started up, and closing his eyes, placed his fingers upon the lids, as though he sought to imprison within his brain some curious dream from which he feared he might awake.

"It is your best work, Basil, the best thing you have ever done," said Lord Henry languidly. "You must certainly send it next year to the Grosvenor. The Academy is too large and too vulgar. Whenever I have gone there, there have been either so many people that I have not been able to see the pictures, which was dreadful, or so many pictures that I have not been able to see the people, which was worse. The Grosvenor is really the only place."



"I don't think I shall send it anywhere," he answered, tossing his head back in that odd way that

Посреди комнаты на мольберте стоял портрет молодого человека необыкновенной красоты во весь рост, а перед ним, немного поодаль, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, внезапное исчезновение которого несколько лет тому назад вызвало в обществе так много шума и возбудило немало странных толков.

Когда художник взглянул на грациозную, красивую фигуру, так искусно отраженную его кистью, улыбка удовольствия появилась и как бы застыла у него на лице. Внезапно он вскочил и, закрыв глаза, прижал свои веки пальцами, будто стараясь удерживать у себя в мозгу какой-то чудный сон, от которого он боялся проснуться.

— Это ваше лучшее произведение, Бэзил, лучшая из всех вами написанных картин, — проговорил лорд Генри тоном. — Вы непременно должны выставить его в будущем году в Grosvenor Gallery. Академическая выставка слишком велика и вульгарна. Когда бы мне ни случилось там бывать, там всегда такое множество людей, что немислимо разглядеть картины, а это ужасно, или же такое множество картин, что нельзя разглядеть людей, а это еще ужаснее. Гросвенор, по-моему, единственное место для вас.

— Вернее всего, я не стану нигде выставлять эту вещь, — ответил Бэзил, закидывая голо-

used to make his friends laugh at him at Oxford. "No, I won't send it anywhere."



Lord Henry elevated his eyebrows and looked at him in amazement through the thin blue wreaths of smoke that curled up in such fanciful whorls from his heavy, opium-tainted cigarette. "Not send it anywhere? My dear fellow, why? Have you any reason? What odd chaps you painters are! You do anything in the world to gain a reputation. As soon as you have one, you seem to want to throw it away. It is silly of you, for there is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about. A portrait like this would set you far above all the young men in England, and make the old men quite jealous, if old men are ever capable of any emotion."



"I know you will laugh at me," he replied, "but I really can't exhibit it. I have put too much of myself into it."

Lord Henry stretched himself out on the divan and laughed.

"Yes, I knew you would; but it is quite true, all the same."

"Too much of yourself in it! Upon my word, Basil, I didn't

ву назад по своей странной привычке, заставлявшей, бывало, его товарищей в Оксфорде смеяться над ним. — Нет, я нигде не выставлю ее.

Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь прозрачно-голубые завитки дыма, причудливыми кольцами поднимавшиеся от его крепкой папиросы, пропитанной опиумом.

— Вы ее не выставите? Да почему же, милейший? По какой причине? Какие вы, художники, странные люди! Вы все на свете готовы сделать, чтобы добиться известности; а как только вы ее добьетесь, вы точно стараетесь от нее отвязаться. Это, по-моему, глупо, ибо что может быть на свете хуже того, что о человеке все говорят? Только одно: когда о нем молчат. А такой портрет, как этот, поставит вас головою выше всех молодых художников Англии, а старых преисполнит чувством зависти, если только старики вообще-то способны на какие-нибудь чувства.

— Я знаю, что вы будете надо мною смеяться, — ответил художник, — но я, право, не могу выставить этот портрет, я вложил в него слишком много себя самого.

Лорд Генри растянулся на диване и засмеялся.

— Да, я знал, что вы будете смеяться; но, тем не менее, это так.

— Слишком много себя самого! Честное слово, Бэзил, я



know you were so vain; and I really can't see any resemblance between you, with your rugged strong face and your coal-black hair, and this young Adonis, who looks as if he was made out of ivory and rose-leaves. Why, my dear Basil, he is a Narcissus, and you—well, of course you have an intellectual expression and all that. But beauty, real beauty, ends where an intellectual expression begins. Intellect is in itself a mode of exaggeration, and destroys the harmony of any face. The moment one sits down to think, one becomes all nose, or all forehead, or something horrid. Look at the successful men in any of the learned professions. How perfectly hideous they are! Except, of course, in the Church. But then in the Church they don't think. A bishop keeps on saying at the age of eighty what he was told to say when he was a boy of eighteen, and as a natural consequence he always looks absolutely delightful. Your mysterious young friend, whose name you have never told me, but whose picture really fascinates me, never thinks. I feel quite sure of that. He is some brainless beautiful creature who should be always here in winter when we have no flowers to look at, and always here in summer when we want something to chill our intelligence. Don't flatter yourself, Basil: you are not in the least like him."

не знал, что вы до того тщеславны; и я, право, не вижу никакого сходства между вами, — у вас такое суровое, сильное лицо и черные, как уголь, волосы, — и этим юным Адонисом, который словно сотворен из слоновой кости и лепестков розы. Ведь, дорогой мой Бэзил, он — Нарцисс, а вы... гм... конечно, у вас очень одухотворенное выражение лица и все такое; но красота, настоящая красота кончается там, где начинается одухотворенность. Интеллект сам по себе уже есть вид преувеличения, и он нарушает гармонию всякого лица. Как только человек начинает думать, у него лицо превращается в один сплошной нос, или лоб, или что-нибудь такое же ужасное. Посмотрите на выдающихся людей какой угодно ученой профессии. Как они все безобразны! Исключая, конечно, лиц духовных. Но те ведь никогда и не думают. Епископ и в восемьдесят лет обыкновенно повторяет то, что его учили говорить, когда он был мальчишкой восемнадцати лет, и естественно поэтому, что наруганность его навсегда остается приятной. Ваш таинственный юный приятель, имени которого вы не сказали мне, но чей портрет меня прямо восхищает, наверное, не мыслит никогда. Я в этом совершенно уверен. Он — безмозглое, прелестное создание, и его надлежало бы всегда иметь здесь зимой, когда нет



"You don't understand me, Harry," answered the artist. "Of course I am not like him. I know that perfectly well. Indeed, I should be sorry to look like him. You shrug your shoulders? I am telling you the truth. There is a fatality about all physical and intellectual distinction, the sort of fatality that seems to dog through history the faltering steps of kings. It is better not to be different from one's fellows. The ugly and the stupid have the best of it in this world. They can sit at their ease and gape at the play. If they know nothing of victory, they are at least spared the knowledge of defeat. They live as we all should live—undisturbed, indifferent, and without disquiet. They neither bring ruin upon others, nor ever receive it from alien hands. Your rank and wealth, Harry; my brains, such as they are—my art, whatever it may be worth; Dorian Gray's good looks—we shall all suffer for what the gods have given us, suffer terribly."



"Dorian Gray? Is that his name?" asked Lord Henry, walking across the studio towards Basil Hallward.

цветов, на которые можно смотреть, и летом, когда чувствуешь потребность охладить свои мысли. Пожалуйста, не льстите себе самому, милый Бэзил; вы ни капельки на него не похожи.

— Вы меня не понимаете, Гарри, — ответил художник. — Конечно, я не похож на него. Я это знаю прекрасно. И, право, я бы очень жалел, если бы оказался похож на него. Вы пожимаете плечами? Я говорю вам правду. Над всяким физическим или умственным превосходством тяготеет какой-то рок, тот самый, который на всем протяжении истории преследует нетвердую поступь царей. Лучше не отличаться от других. Уроды и дураки в этом мире всегда остаются в барышах. Они могут спокойно сидеть и праздно взирать на то, как играют другие. Если они не знают побед, зато не знают поражений. Они живут так, как все мы должны бы жить: невозмутимо, равнодушно, не зная тревог. Они никому не приносят гибели и сами не гибнут от вражьих рук. Ваше положение и богатство, Гарри; мой ум, каков бы он ни был, мое искусство, какова бы ни была ему цена; красота Дориана Грея — за все эти дары богов мы заплатим когда-нибудь страданием, страшным страданием.

— Дориан Грей? Его так зовут? — спросил лорд Генри, медленно переходя через всю мастерскую к Бэзилю Холлуорду.

"Yes, that is his name. I didn't intend to tell it to you."

"But why not?"

"Oh, I can't explain. When I like people immensely, I never tell their names to any one. It is like surrendering a part of them. I have grown to love secrecy. It seems to be the one thing that can make modern life mysterious or marvellous to us. The commonest thing is delightful if one only hides it. When I leave town now I never tell my people where I am going. If I did, I would lose all my pleasure. It is a silly habit, I dare say, but somehow it seems to bring a great deal of romance into one's life. I suppose you think me awfully foolish about it?"



"Not at all," answered Lord Henry, "not at all, my dear Basil. You seem to forget that I am married, and the one charm of marriage is that it makes a life of deception absolutely necessary for both parties. I never know where my wife is, and my wife never knows what I am doing. When we meet—we do meet occasionally, when we dine out together, or go down to the Duke's—we tell each other the most absurd stories with the most serious faces. My wife is very good at it—much better, in fact, than I am. She never gets

— Да, его так зовут. Вам я не хотел называть его имя.

— Но почему же?

— О, этого я не могу объяснить. Видите ли, когда мне кто-нибудь очень нравится, я никогда никому не скажу его имени. Это почти то же самое, что отдавать его часть другим. Я научился любить таинственность. Ведь только она и может сделать для нас современную жизнь чудесной и загадочной. Всякий пустяк становится интересным, как только начинаешь его скрывать. Когда я теперь уезжаю из города, я никогда не сообщаю своим близким, куда я еду. Если бы я это сделал, все удовольствие поездки было бы для меня потеряно. Это глупая привычка, быть может, но она вносит каким-то образом значительную долю романтизма в жизнь. Конечно, вы все это считаете ужасно глупым?

— Вовсе нет, — ответил лорд Генри, — вовсе нет, дорогой Бэзил. Вы, кажется, забываете, что я женат, и что единственная прелесть брака состоит в том, что он делает жизнь, полную обманов, неизбежной для обеих сторон. Я никогда не знаю, где моя жена, а жена моя никогда не знает, что я делаю. При встрече — а изредка мы встречаемся, когда вместе обедаем где-нибудь, или бываем у герцога — мы рассказываем друг другу самые невероятные истории с самыми серьезными лицами. Моя жена

confused over her dates, and I always do. But when she does find me out, she makes no row at all. I sometimes wish she would; but she merely laughs at me."



"I hate the way you talk about your married life, Harry," said Basil Hallward, strolling towards the door that led into the garden. "I believe that you are really a very good husband, but that you are thoroughly ashamed of your own virtues. You are an extraordinary fellow. You never say a moral thing, and you never do a wrong thing. Your cynicism is simply a pose."

"Being natural is simply a pose, and the most irritating pose I know," cried Lord Henry, laughing; and the two young men went out into the garden together and ensconced themselves on a long bamboo seat that stood in the shade of a tall laurel bush. The sunlight slipped over the polished leaves. In the grass, white daisies were tremulous.

After a pause, Lord Henry pulled out his watch. "I am afraid I must be going, Basil," he murmured, "and before I go, I insist on your answering a question I put to you some time ago."

"What is that?" said the painter, keeping his eyes fixed on the ground.

хорошо это делает, в сущности, гораздо лучше, чем я. Она никогда не сбивается в числах, а я все всегда перепутаю. Но, когда ей случается меня поймать, она никогда не поднимает истории. Иногда мне даже хотелось бы, чтобы она рассердилась, но она только смеется надо мной.

— Терпеть не могу эту вашу манеру говорить о своей супружеской жизни, Гарри, — молвил Бэзил, подходя к дверям, ведущим в сад. — Я уверен, что вы на самом деле примерный муж, но что вы, в сущности, стыдитесь собственных своих добродетелей. Вы странный человек. Никогда не скажете ничего нравственного, но никогда не совершите ничего безнравственного. Ваш цинизм просто-напросто — поза.

— Быть естественным — поза, и самая раздражающая, какую только я знаю, — смеясь, возгласил лорд Генри. Молодые люди вышли в сад и уселись на длинной бамбуковой скамейке, под тенью высокого лаврового куста. Лучи солнца скользили по гладкой листве деревьев. В траве дрожали белые маргаритки.

Они помолчали. Лорд Генри взглянул на часы.

— К сожалению, мне сейчас надо идти, Бэзил, — сказал он: — но я не уйду, пока вы не ответите мне на тот мой вопрос...

— Какой вопрос? — спросил Бэзил Холлуорд, не поднимая глаз от земли.

"You know quite well."

"I do not, Harry."

"Well, I will tell you what it is. I want you to explain to me why you won't exhibit Dorian Gray's picture. I want the real reason."

"I told you the real reason."

"No, you did not. You said it was because there was too much of yourself in it. Now, that is childish."

"Harry," said Basil Hallward, looking him straight in the face, "every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. The sitter is merely the accident, the occasion. It is not he who is revealed by the painter; it is rather the painter who, on the coloured canvas, reveals himself. The reason I will not exhibit this picture is that I am afraid that I have shown in it the secret of my own soul."

Lord Henry laughed. "And what is that?" he asked.

"I will tell you," said Hallward; but an expression of perplexity came over his face.

"I am all expectation, Basil," continued his companion, glancing at him.

"Oh, there is really very little to tell, Harry," answered the painter; "and I am afraid you will hardly understand it. Perhaps you will hardly believe it."

— Вы прекрасно знаете — какой.

— Нет, не знаю, Гарри.

— В таком случае я вам скажу. Я хочу, чтобы вы объяснили мне, почему вы не желаете выставить портрет Дориана Грея. Я хочу знать настоящую причину.

— Я сказал вам настоящую причину.

— Нет. Вы сказали, что вложили в этот портрет слишком много себя самого. Но ведь это ребячество!

— Гарри! — сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в глаза. — Каждый портрет, написанный с чувством, есть, в сущности, портрет художника, а отнюдь не его модели. Модель — это просто случайность. Не ее раскрывает на полотне художник, а скорее самого себя. Потому-то я и не выставляю этот портрет, что боюсь, не раскрыл ли я в нем тайну своей собственной души.

Лорд Генри засмеялся.

— Что же это за тайна? — спросил он.

— Я скажу вам, — ответил Холлуорд; но выражение замешательства появилось у него на лице.

— Я весь ожидание, Бэзил, — продолжал его собеседник и посмотрел на него.

— О, говорить-то тут почти нечего, Гарри, — ответил художник. — Но вряд ли вы это поймете. А пожалуй, вряд ли и поверите.

Lord Henry smiled, and leaning down, plucked a pink-petalled daisy from the grass and examined it. "I am quite sure I shall understand it," he replied, gazing intently at the little golden, white-feathered disk, "and as for believing things, I can believe anything, provided that it is quite incredible."



The wind shook some blossoms from the trees, and the heavy lilac-blooms, with their clustering stars, moved to and fro in the languid air. A grasshopper began to chirrup by the wall, and like a blue thread a long thin dragon-fly floated past on its brown gauze wings. Lord Henry felt as if he could hear Basil Hallward's heart beating, and wondered what was coming.



"The story is simply this," said the painter after some time. "Two months ago I went to a crush at Lady Brandon's. You know we poor artists have to show ourselves in society from time to time, just to remind the public that we are not savages. With an evening coat and a white tie, as you told me once, anybody, even a stock-broker, can gain a reputation for being civilized. Well, after I had been in the room about ten minutes, talking to huge overdressed dowagers and tedious academicians, I suddenly became conscious that some one

Лорд Генри улыбнулся, наклонился и, сорвав в траве бледно-розовую маргаритку, принялся ее рассматривать.

— Я совершенно уверен, что пойму все, — возразил он, пристально разглядывая маленький, золотистый кружок, опушенный белыми лепестками, — что же касается веры, то я поверю чему угодно, лишь бы оно было совсем невероятно.

Порыв ветра стряхнул с деревьев несколько лепестков, а тяжелые гроздя сирени, мириады крошечных звездочек, заколыхались в сонном воздухе. Кузнечик затрещал у стены; и, словно синяя нить, длинная, тоненькая стрекоза пронеслась мимо на своих темных газовых крылышках. Лорду Генри показалось, что он слышит биение сердца Бэзиля Холлуорда, и он удивленно ждал, что будет дальше.

— Дело попросту вот в чем, — сказал через некоторое время художник, — Два месяца тому назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Вы знаете, мы, бедные художники, должны время от времени появляться в обществе только для того, чтобы напомнить людям, что мы не совсем дикари. Во фраке и белом галстуке, по вашему собственному выражению, всякий, даже биржевой маклер, может приобрести репутацию цивилизованного человека. Ну, вот, войдя в залу и поболтав минут десять

was looking at me. I turned half-way round and saw Dorian Gray for the first time. When our eyes met, I felt that I was growing pale. A curious sensation of terror came over me. I knew that I had come face to face with some one whose mere personality was so fascinating that, if I allowed it to do so, it would absorb my whole nature, my whole soul, my very art itself. I did not want any external influence in my life. You know yourself, Harry, how independent I am by nature. I have always been my own master; had at least always been so, till I met Dorian Gray. Then—but I don't know how to explain it to you. Something seemed to tell me that I was on the verge of a terrible crisis in my life. I had a strange feeling that fate had in store for me exquisite joys and exquisite sorrows. I grew afraid and turned to quit the room. It was not conscience that made me do so: it was a sort of cowardice. I take no credit to myself for trying to escape."



"Conscience and cowardice are really the same things, Basil. Conscience is the trade-name of the firm. That is all."

"I don't believe that, Harry, and I don't believe you do either.

с разными разодетыми титулованными вдовицами и скучными академиками, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я повернулся в пол-оборота и в первый раз в жизни увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Странный ужас охватил меня. Я понял, что столкнулся с человеком, самая личность которого была так обаятельна, что, если бы я только поддался, она могла бы поглотить все мое существо, всю душу, даже самое мое искусство. Я не хотел, чтобы на мою жизнь кто-нибудь влиял со стороны. Вы ведь сами знаете, Гарри, насколько я независим по природе. Я всегда был сам себе господин, по крайней мере, до встречи с Дорианом Греем. А тут... но я не знаю, как это вам объяснить... Что-то подсказало мне, что в моей жизни сейчас совершится ужасный какой-то перелом. Я как бы почувствовал, что судьба заготовила для меня изысканные радости и какие-то изысканные муки. Мне стало страшно, и я повернулся, чтобы покинуть комнату. Не совесть побудила меня так поступить, а скорее какая-то трусость. И я не могу поставить себе в заслугу это желание убежать.

— Совесть и трусость, право, одно и то же. Совесть — это лишь вывеска фирмы. Вот и все.

— Я этому не верю, Гарри; я даже не верю, что этому верите

However, whatever was my motive—and it may have been pride, for I used to be very proud—I certainly struggled to the door. There, of course, I stumbled against Lady Brandon. 'You are not going to run away so soon, Mr. Hallward?' she screamed out. You know her curiously shrill voice?"

"Yes; she is a peacock in everything but beauty," said Lord Henry, pulling the daisy to bits with his long nervous fingers.

"I could not get rid of her. She brought me up to royalties, and people with stars and garters, and elderly ladies with gigantic tiaras and parrot noses. She spoke of me as her dearest friend. I had only met her once before, but she took it into her head to lionize me. I believe some picture of mine had made a great success at the time, at least had been chattered about in the penny newspapers, which is the nineteenth-century standard of immortality. Suddenly I found myself face to face with the young man whose personality had so strangely stirred me. We were quite close, almost touching. Our eyes met again. It was reckless of me, but I asked Lady Brandon to introduce me to him. Perhaps it was not so reckless, after all. It was simply inevitable. We would have spoken to each other without any introduction. I am sure of that. Do-

вы. Во всяком случае, каково бы ни было мое побуждение, — может быть, это была гордость, так как я всегда был очень горд, — я стал протискиваться к дверям. Но там я, конечно, натолкнулся на леди Брэндон. — «Вы не собираетесь ли убежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Ведь вы знаете ее изумительно-резкий голос?

— Да, она — павлин во всех отношениях, только не в отношении красоты, — сказал лорд Генри, разрывая в клочки маргаритку своими тонкими, нервными пальцами.

— Я не мог от нее отделаться. Она стала подводить меня к высочайшим особам, разным саванникам в звездах и орденах, к старым дамам в гигантских диадемах и с такими носами, как у попугаев. Она говорила обо мне, как о своем лучшем друге. До тех пор я лишь однажды видел ее, но она во что бы то ни стало, желала, по-видимому, раздуть меня в знаменитость. Кажется, какая-то из моих картин имела в то время большой успех; по крайней мере, о ней кричали разные газеты, что в XIX веке должно служить мерилом бессмертия. Вдруг я очутился лицом к лицу с тем молодым человеком, внешность которого так странно поразила меня. Мы были близко, почти касались друг друга. Взоры наши встретились опять. Это было безрассудством с моей